

М. ГРОСС

Основные тенденции развития западной историографии в последней четверти XX–начале XXI столетия*

В статье дается общий обзор основных течений, доминирующих в европейской исторической науке на рубеже XX–XXI вв. Рассматриваются точки взаимопритяжения и взаимоотталкивания ведущих научных направлений и школ.

Ключевые слова: историография, научные направления, нарратив, историческая социальная наука, устная история, микроистория.

The article contains general survey of main tendencies in European historical studies at the end of XX century and the beginning of XXI century. The points of mutual diffusion and contests between different academic schools are also considered.

Keywords: historiography, academic schools, narrative, Social Science History, Oral History, micro history.

Традиционно принято считать, что изучение путей развития исторической науки – это, с одной стороны, установление взаимосвязи понятий и определение проблематики исследований, а с другой – анализ политико-социальных и культурных предпосылок профессиональной деятельности историков. Такая сентенция в принципе верна при условии, что речь идет о “закрытом” обществе, в котором норма – различные формы политико-идеологического контроля, а история используется с целью легитимизации интересов правящих элит и сохранения их политических позиций, выступая как встроенный элемент политической системы и развиваясь в заданных какой-либо идеологией рамках. Эта ситуация была характерна не только для стран советского блока, но и для националистических или антикоммунистических государств. Общим для развития исторической науки при режимах указанного типа было то, что главный объект изучения ограничивался национальным государством, чья история и составляла предмет разнообразных конкретных исследований.

В “открытых” обществах, к которым к концу XX в. постепенно присоединились бывшие страны советского блока и правые диктатуры Европы, историографические исследования – это, во-первых, изучение разнообразных историко-методологических дискурсов или, говоря словами Г. Бурде, **различных способов писать историю** [Bourdé, Martin, 1997]. Во-вторых, это большая независимость историков от власти, широкий, не ограниченный государственными границами, обмен мнениями, и глав-

* В основу статьи положен сокращенный вариант текста [Gross, 2006]. Название дано редколлегией журнала.

ное – возможность критического осмысления и интеллектуальной переоценки ранее казавшихся фундаментальными и незыблемыми ценностей и постулатов. И задача данной статьи – дать общий обзор основных течений, доминирующих ныне в европейской исторической науке, и выявить точки взаимопритяжения и взаимоотталкивания ведущих научных направлений и школ.

Как ни парадоксально, хотя пространство, в котором историческая наука находилась под политическим и идеологическим контролем в конце XX столетия, сузилось, однако с независимой историографией мы встречаемся не часто. Относительная независимость исследователей от политического вмешательства не означает отсутствия воздействия на них общественного мнения, так или иначе трактуемых национальных интересов и этнокультурных традиций. Поэтому национальные нарративы и метанарративы в основном все еще преобладают в повседневной профессиональной деятельности историков. Метанарративы – наиболее значительный элемент интерпретаций национальных историй. Они изучают долгосрочные тенденции развития, сводят сложные исторические структуры к упрощенному стержневому образцу в форме нарратива, ретранслируют идеологическую информацию в форме имеющейся ясной перспективы, выстраивают мост между научными исследованиями и восприятием истории обществом, а эмоциональными призывами способствуют созданию или укреплению коллективного сознания.

Метанарративы не ограничиваются исключительно культурной идентичностью объектов своего исследования. Они описывают также отличия между “нами” и “другими”, а также вторичность этих “других”. Речь идет не только о западных конструктах, поскольку и другие культуры также обладают собственными метанарративами. К слову, постмодернистская критика западных метанарративов, о которой будет сказано ниже, обнаруживает кризис идентичности в самоосмыслении западных культур. Однако представляется, что культурной идентичности без метанарратива не существует в силу тесных связей между историографией и восприятием коллективной культурной и социальной памятью.

За последние 50 лет в западных обществах возникали различные метанарративы, как традиционные, так и противоположные им – контртрадиционные. Доминирование того или иного их типа зависело от того, основывалось ли их использование на парадигме могущества государства или парадигме эмансипации личности. Значительно расширил понятие “нарративной структуры” применительно к историографическому дискурсу Х. Уайт. Его многочисленные исследования по европейской историографии показали, что в Европе можно отметить ослабление или видоизменение подобных нарративов в результате кардинальных политических перемен, произошедших в 1945, 1968 и 1989 гг. (см. [White, 1986; 1990; 1991]). Позднее критика со стороны постмодернизма релятивизировала методы, инструментарий и цели подобных исследований, а разные направления в историографии ослабляли эти тенденции в процессе интерпретации национально-политического развития.

В XXI в. метанарративы западной цивилизации стали не так актуальны, поскольку многие более не верят в универсальность основополагающих западных ценностей, таких, например, как концепция личности как независимого субъекта; перманентный прогресс развития цивилизации данного типа; минимизация роли религии, и т.п. Все эти концепты в наибольшей степени стали объектом сильнейшей критики со стороны постмодернизма, который пытался и пытается заменить монизм прошлого века историческим плюрализмом века нынешнего. Это понятие возникло в процессе дискуссий 1980–1990-х гг. о нарративной основе исторического источника, на развитие которой существенное влияние оказали французские “деконструктивисты”. Критикуя модернизм, М. Фуко предпринял атаку в первую очередь на оптимизм, а также понятия свободы и прогресса, противопоставив им модель “воспитывающего общества” (*disciplinary society*) [Foucault, 1994^a; 1994^b; 2003]. Ж.-Ф. Лиотар выступил против гегелевского исторического детерминизма и марксистских метанарративов, интерпретирующих прошлое с позиций исторического материализма и неизбежности

социалистической революции, а также в целом – против всех оптимистических концепций модернизации, прогресса, нации и демократизации [Lyotard, 2005]. Речь идет об отказе от любого метанарратива, а также об отрицании возможности исследования глубинных структур, существующих в течение больших временных периодов.

Это критическое направление встретило отклик прежде всего в США, в особенности у феминисток и социальных меньшинств, которые искони критиковали господствовавшие “мужскую”, “белую” и евроцентричную картину истории. Само понятие “метанарратив” неоднократно обсуждалось, например, в контексте взаимосвязи результатов профессиональных исследований с культурными традициями и социальной памятью, с превращением усилиями СМИ прошлого в современность, с политическими инсценировками на исторические темы, с социальной ролью метанарратива как главной формы коллективного самоосмысления. Вопрос состоял в том, какие социальные силы в разные исторические периоды были “владельцами” данного нарратива – создателями и носителями общественно признанного его смысла. Так, после 1945 г. в Германии рухнули казалось бы незыблемые метанарративы времен империи и А. Гитлера. В то же время на Востоке возник марксистский контрпроект, а на Западе – “социальная история”, считавшаяся демократической. Уже эти примеры показывают, в какой степени метанарративы – продукты множества внутренних конфликтов и разнообразного внешнего воздействия, а также и то, что их господство зависит от изменяющихся социально-политических границ.

В настоящее время в дискуссиях об истории часто возникает тема коллективной памяти. Но любое воспоминание опирается на личный опыт. Одинаковый опыт, а также одни и те же воспоминания у разных людей вызывают совершенно разные реминисценции. Коллективными или надындивидуальными считаются лишь условия – политические, религиозные, социальные, экономические, языковые и национальные, при которых формируется опыт и его превращение в воспоминания. Необходимо различать личный опыт непосредственных участников событий и вторичный опыт людей, при них непосредственно не присутствовавших. Всегда возникает вопрос – **кто** обобщает, **кто** приводит к общему знаменателю и монополизирует воспоминания, **кто** стремится манипулировать исторической действительностью в соответствии с современными интересами и различными типами идеологий.

Постмодернистский тезис о том, что историография – лишь одна из разновидностей вымысла, не получил широкого распространения; однако его невозможно легко опровергнуть ссылаясь на традиционный научный стандарт. Проблема вымысла заключается не в реальности происходящего и узких причинных связях, а в их встроенности в более объемные нарративы. До тех пор, пока историки были уверены, что своей деятельностью могут создавать объективное знание об исторических событиях, они считали, что играют важную роль в ориентации общества, и создавали исторические нарративы, приписывая им структурирующий импульс в общественной памяти. Но сегодня интерес к формам исторического сознания и к метанарративам все больше увязывается со скепсисом относительно роли историков. Ставится под сомнение их вклад в формирование исторического сознания общества. Поскольку в СМИ господствует **изображение**, кажется, что историография в форме **текста** все более пасует перед медиакommunikациями, а историки не имеют шансов перед публицистами, которые, следуя законам рынка, поставляют сенсации в печать и на телевидение. Во взаимоотношениях между сложностью профессионального знания и упрощенными требованиями СМИ, последние обретают все большее влияние. И все же профессиональная работа историков во многом – вне конкуренции, поскольку они связывают воедино научный анализ и изложение фактов.

Использование национально-исторических мифов в политических целях после преобразований 1989–1990 гг. привело к существенным изменениям в интерпретациях национальной истории. На постсоветском и постсоциалистическом пространстве заметно возвращение к старым типам метанарративов. Например, в России многие историки в поисках национальной идентичности и национального смысла некритиче-

ски восхваляют дореволюционный период, реанимируя классические образы великорусского национализма XIX в. В целом можно сказать, что национально-исторические метанарративы, в том виде, как они возникли в XIX в. и трансформировались в следующем столетии, продолжают жить и в XXI в. Возникает и почва для новых метанарративов, а с этой точки зрения актуален поиск соответствующих интерпретаций европейской истории, стимулируемый развитием Евросоюза. Однако представляется, что и миру, глобализирующемуся в ходе бесчисленных конфликтов, требуются как сами метанарративы, так и множественность перспектив и культурная толерантность по отношению к различным нарративам.

Постмодернистская деконструкция полностью отвергает метанарративы западной цивилизации. И постмодернисты правы, когда восстают против нарратива, понимаемого как непрерывное поступательное движение и восхождение к свету, свободе и демократии, а также против интерпретаций в смысле превосходства белого человека или против национальных мифов. Однако постмодернизм отвергает любую попытку синтеза, который требует ясных принципов организации. В качестве единственного реального подхода к истории он противопоставляет синтезу микроисторию не связанных между собой частностей. Но историческая наука отказалась бы от своей фундаментальной задачи, если бы не пыталась объяснять сложные структуры прошлого.

Открытость по отношению к разнообразным новым течениям в историографии во второй половине XX в. продемонстрировала школа “Анналов” своей нацеленностью на изучение “новой” экономической, социальной и культурной истории. Из-за быстрых внутренних перемен ее невозможно однозначно сравнить с другими направлениями, но исключительный успех во всем мире с 1950-х гг. в дальнейшем обеспечил ей значительное влияние на другие новые направления в международной ойкумене историков. Школа “Анналов” исследовала социальные процессы, массовые движения и долговременные структуры, стремясь к охвату всех сфер социальной жизни определенного периода во всей полноте их взаимоотношений.

Упомянутое направление не соответствовало бесконечной фрагментации, произошедшей в последующие годы в связи с попытками изучения различий и разнообразия в историческом развитии, а также ориентации на те или иные социальные науки. Такой подход означал переход к ограниченным, узким областям исследования. И второе: после отцов-основателей этой школы – Л. Февра и М. Блока – поколение Ф. Броделя, господствовавшее до конца 1960-х гг., исследовало экономические и социальные структуры при частичном использовании количественных методов, затем – “процессы, охватывающие значительные временные периоды” и разные уровни исторического времени. Третье поколение “Анналов” (Ж.-П. Барде, Ж.-К. Перро) занималось историей менталитета и стремилось получить информацию о культуре и субкультуре определенного региона с упором на микроэлементы и внимание к повседневной жизни. Ученые начали изучать исторические факты, которые до этого были в основном предметом исследования антропологов. Из этого направления вышло четвертое поколение школы “Анналов” (Р. Картье и др.), вдохновляющееся антропологией и теорией литературы.

С 1960-х до конца 1990-х гг. можно говорить о преемственности направления “социальной истории”, постепенно распространившегося на многие области исследования и частично сохранившего некоторые остатки своей изначальной оппозиционности. Логика узкой специализации в 1980-е гг. привела к распаду историографии на не связанные между собой области исследования. Различные теоретические и методологические подходы вызвали многочисленные противоречия. Микроистория сталкивалась с макроисторией, история повседневности – с политической, социальная история – с историей культуры. В целом концептуальный плюрализм, проявившийся в многочисленных дискуссиях, стал характерной чертой современной историографии. “Социальная история” не получила широкого распространения среди историков – ни подобно концепции “Анналов”, ни подобно зародившейся в Германии школе “исторической социальной науки”, ни подобно американской “Social Science History”.

Некоторые ученые понимали “социальную историю” как дисциплину наряду с политической и культурной историей или историей идей; другие же видели в ней возможность особой интерпретации исторического процесса в целом. В исследовательской практике историков важное место занимают теории исторической социологии. Наряду с идеями М. Вебера и американским подходом к теории модернизации, необходимо упомянуть и марксизм западных историков общества, никак не связанных с коммунистическими партиями. Но это направление постепенно отодвигалось на обочину. В некоторых исследованиях, в основном созданных до 1980-х гг., использовались макросоциологические модели и количественные методы. Однако число критиков этой методологии постепенно увеличивалось.

Как и среди специалистов в области других социальных наук, в среде историков возникли многочисленные противоречия. Противопоставлялись друг другу количественные и качественные методы, макро- и микроперспективы, структуры и события, общество и индивидуум, практика и дискурс. Таким образом, поле исследования социальной истории фрагментировалось и далее, что затрудняло установление взаимосвязей между различными направлениями. Группы исследователей формировались в основном в отдельных регионах и городах, но одновременно они были и представителями государства – территории, на которой каждая данная группа возникала.

Вопреки первоначальной эйфории, введение информационных технологий не привело к существенным изменениям в направлении “социальной истории”. Наряду с прочим, оно расширило свою методологию за счет использования интервью и анкет, то есть водворилась “устная история”. При этом в 1980-е гг. возникла полемика, вызванная взаимным противопоставлением направления количественных методов и исследования социальных структур, настаивавшего исключительно на анализе опыта непосредственных свидетелей исторических событий.

Довольно поздно в повестку дня в качестве метода, используемого “социальной историей”, было внесено системное сопоставление. Импульс развитию системного сопоставления социальных явлений и ситуаций придала и национальная история, содержащая в себе также сравнение с другими нациями и государствами. Сегодня все интереснее становится компаративная история Европы, которая пытается ответить на важнейший вопрос: что же такое Европа в действительности? Сравнительные исследования городов, регионов, социальных групп в большем объеме распространились только в конце 1990-х гг.

Безусловно, можно сказать, что “социальная история” получила признание на международном уровне. Если в 1950-е гг. историки, занимавшиеся исключительно политической историей, отождествили ее с социализмом в марксистском варианте, то подобное толкование давно ушло в прошлое, и изучение общества на разных исторических этапах в профессиональной историографии присутствует повсюду. Но в то же время “социальная история” как единое целое, как единое направление более не существует. Она состоит из нескольких обособленных областей исследования, между которыми отсутствует профессиональный контакт.

В конце 1980-х гг. “новая культурная история” начала атаку на “социальную историю”. Проанализирую, например, ситуацию в германской историографии. В ФРГ получила развитие политико-социальная история, сконцентрированная на проблемах собственной нации, нацеленная на решение крупных проблем новейшей истории германской нации и стремившаяся путем анализа различных исторических этапов общества придать импульс новому направлению национальной историографии. Речь идет о критическом использовании новейшей национальной истории, ключевой точкой отсчета которой стал национал-социалистский режим и его массовые преступления. Возник тезис об особом пути, то есть об отказе Германии от развития модернизации западного характера при развитии современной нации и общества в национальных границах. Труды Х.-У. Велера [Wehler, 2007^a; 2009] по германской социальной истории с 1700 до 1949 г., действительно, стали синтезом исследований целого поколения, занимавшегося социально-политическими проблемами. Поэтому именно он выступил

в роли главного борца против наступления “новой культурной истории” (по моему мнению, эта полемика представляет собой адекватную картину современной историографии вообще, хотя в последнее время она и ослабла). Однако, прежде чем попытаться описать эту полемику, необходимо обратить внимание на дискуссии об основах исторической науки, навязанных постмодернизмом.

Действительно, современная историческая наука под натиском постмодернизма, большей частью в виде “лингвистического переворота” и дискурсного анализа (Фуко), утратила уверенность в определении своего исследования. Наиболее радикальная идея “лингвистического переворота” состоит в утверждении, что тексты соотносятся только с текстами, но не с исторической реальностью, о которой они повествуют. Реальность воплощается в языке, который предшествует нашему знанию о мире и не является функцией говорящего на нем индивидуума. Человек более не хозяин языка, наоборот, язык управляет человеком. Тем самым опровергается позиция историков, считающих, что языковые знаки в историческом тексте относятся к фактам, существовавшим вне текста – в реальности (см. [White, Rossi, 1987; White, 2010]). Поэтому поборников “лингвистического переворота” укоряют за отрицание реальности вне текста.

Постмодернистские авторы утверждают, что ни прошлое в целом, ни его части не могут быть познаны потомками – нашими современниками. Речь идет лишь об отношении к прошлому самих историков, выражаемом в историографическом тексте, который как “литературный артефакт” обладает фикционально-нарративным (вымышленно-описательным) характером. Согласно этим утверждениям, нарративный текст не представляет собой научной информации об историческом развитии. Он помещен в нарратив здесь и сейчас (Уайтом) или в дискурс (Фуко) – то есть в совокупность правил, имманентных определенной языковой практике. Таким образом, историк мог бы предложить только видение прошлого, но не вынести оценку истории с попытками ее реконструкции. Поэтому профессиональная историография не предоставляет информации о *res gestae*; она лишь являет собой игру различных точек зрения *historiae rerum gestarum*. Соответственно, историческое свидетельство не может быть ни правдивым, ни ложным. Именно эта идея стала поводом для полемики о том, можно ли, например, допустить, чтобы реальность Холокоста стала предметом досужей игры слов и полной релятивизации постмодернистского нарратива.

Своей исключительной опорой на лингвистический анализ постмодернизм сохраняет некую разновидность духовной истории, которая не рассматривает никаких иных факторов исторического развития, кроме языка. Вместо социально-исторического анализа или научной концепции она предлагает “литературный артефакт”. При этом не учитывается трудность понимания исторической реальности со всеми ее противоречиями и решительно отвергается факт существования этой реальности. Соответственно, знание об исторических фактах неисторично. Оно есть лишь то, что выражается посредством языка или повествуется.

В действительности исторический анализ соответствует принципу нарративности; поэтому-то он и не утрачивает своего значения по отношению к прошлому. Историческое сознание возникает только тогда, когда данные об исторических фактах на основании стандарта научного исследования концептуально увязываются друг с другом – в рамках нарратива, который имеет свое начало и движется к концу и таким образом придает смысл историческому времени. Сторонники “лингвистического переворота”, наоборот, заняты исключительно повествованием; они пренебрегают исследованием. Хотя только взаимосвязь этих двух сторон и создает продукт научной истории.

Надо заметить, что большинство историков, частично последовавших за модой на постмодернизм, все же не соглашались с полным отрицанием реальности. Но они считали, что приобрести знание об общих исторических процессах невозможно, а возможно лишь собрать информацию об отдельных фрагментах исторической реальности. В этом и заключается суть конфликта между “социальной историей”, исследующей общественные процессы, и “новой культурной историей”, изучающей повседневную жизнь и ограничивающейся “малым нарративом”.

История ментальностей в 1950–1960-е гг. была направлена на изучение явлений массовой культуры и связана с социальной историей групп и классов. Коллективные представления стали важным предметом исследования. Общая политизация и поляризация в 1968 г. имели сильное воздействие на историографию. Методический путь к серийным источникам, интерес к обычному и “нормальному” постепенно отступали и заменялись политико-этическими поисками маргинального и отторгнутого – того, что противостояло “элитному”. Пока представители социально-исторического направления были убеждены в важности своего исследования для политико-идеологических конфликтов современности, “новая культурная история” начала формироваться в областях, лишенных значения для нынешних проблем. Вместо этого данное направление занималось вопросами, о которых еще двадцать лет назад говорили, что они – предмет фундаментальных антропологических исследований.

Понятие “новая культурная история” закрепилось в литературе только после выхода сборника статей под этим названием под редакцией Л. Хант [Hunt, 2001]. Для этого направления характерно большое разнообразие и противоречивость методов, теорий и тематики. Представляется, что общий знаменатель в исследовании “символических форм” (знаков, метафор, политического языка, коллективных представлений, ритуалов) находится в прошлом. В этих рамках возрастало количество число историков, не связанных с национально-культурными историческими институтами. Положение критически настроенного интеллектуала стало для некоторых из них привлекательнее роли ученого как политического советника или создателя национального смысла.

Последствия “лингвистического переворота” при этом были, действительно, раздвинуты. Считается, что источники не открывают глаза на исторические факты, а лишь указывают элементы предшествующей языковой коммуникации. Одновременно с открытием языка как самостоятельной структурной модели действительности произошло и заимствование этнологического понятия культуры – автономной структуры коллективных символов и значений, которые обеспечивают стабильность и преемственность общества независимо от уровня конкретной деятельности, политических событий, а также экономических и социальных изменений. Большая часть подобных трактовок культурной истории страдает от отсутствия восприятия явления как некой целостности, систематизации общих тенденций и направлений развития. Значительно расширилась “микроистория”, занимающаяся исключительно опытом и рассказами о жизни “маленьких людей” вне контекста социальных условий их жизни. Поэтому многие подобные сочинения похожи на узкофункциональную литературу. Существует и мнение, что антропологический подход оспаривает возможность исследования исторических процессов и модернизации вообще и поэтому его сторонники остро критикуют занимающуюся этим “социальную историю”.

С “новой культурной историей” тесно связана история повседневности. В XX в. войны, революции, открытия в области техники, новые законы и экономические решения стремительно изменяли повседневную жизнь, изо дня в день превращавшуюся в историю. Историки повседневности отказались от исследования исторических структур и систем с точки зрения социальной истории и утверждали, что она свела индивидуум к уровню статистической единицы и адресата социальной политики. Индивидуальный и групповой субъективный опыт стал популярной областью исследования. Интересный момент: история повседневности возникла как движение историков-дилетантов против общепризнанных линий в области историографии. С течением времени к ним присоединились многие профессиональные историки. Именно так в Великобритании в конце 1970-х гг. сложилось демократическое направление исследований “History Workshop”, распространившееся затем за пределы этой страны. Кстати, его наработки не подтвердили классической антитезы “левых” об угнетателях и угнетенных. Изучение истории рабочих показало, что в действительности их поведение не было однозначным, что они были более “зациклены” в своей идеологии выживания, чем в сопротивлении угнетению и готовности идти на жертвы.

В контексте дискуссий о существовании объективной истины вне рамок разнообразных субъективных убеждений, история повседневности сблизилась с постмодернизмом. С метанарративами у истории повседневности имеются противоречия, поскольку ее сюжеты разрозненны и противоречивы. На дискуссии о быте повлияли и феминистская историография, и “гендерная история”, вскрывшая во второй половине XX–начале XXI в. противоречие между возросшей социальной ролью женщин и их недостаточным “присутствием” в исторических исследованиях. Многие исследователи-практики описывали проявления повседневности, пуантилистски не обращая внимания на их историческую обусловленность. Но многие из них под влиянием критики со стороны “социальной истории” признали, что попытки интерпретировать повседневность без знания ее политической и социальной подоплеки выглядят несолидно.

В процессе изучения быта внимание ученых привлекали новые типы источников и возникали новые предметы исследования – молодость, старость, рождение, смерть. Историки быта писали о гигиене, болезнях, жилье, готовке, работе по дому, которая (в контексте исследования истории женщин) оказалась бок о бок с работой вне дома. В основном это были истории забытых и неудачников – прислуги, дезертиров, психически больных. Появились работы о многочисленных культурных техниках и разнообразной стратегии выживания. Выяснилось, что биография “маленького человека” столь же драматична, как и биографии “великих людей”. Одновременно данные исследования опровергли многие клише и романтические мифы, например о боевом, героическом пролетариате. Все это продемонстрировало, что история – подсчет успехов и потерь, а не путь к прогрессу и свободе.

Итак, история повседневности значительно расширила сферу интересов историков. Ее приверженцы уверяли, что все люди “способны к изучению истории” и что история действительности – синоним прошлого. Конечно, давние мечты, чтобы историю быта писал “народ”, давно провалились. Профессиональные историки доказали свою незаменимость. Во всяком случае, недостаток более широкого взгляда при исследовании как истории культуры, так и истории повседневности в значительной степени – следствие релятивизма, присущего постмодернизму. Приверженцы “социальной истории” критиковали тех, кто занимались историей культуры и повседневности, за отказ от анализа, познания и оценки исторических явлений. При этом последние впадали в социальный романтизм, стремясь исключительно “войти в положение” исторических неудачников, и ограничивались исследованием частных случаев. Часто встречается наивное представление о возможности непосредственного доступа к аутентичным жизненным историям прошлого на основании сочувственного погружения в них, свойственного ностальгическому антимодернизму.

В связи с этими проблемами интерес вызывает полемика представителей германской “исторической социальной науки” Велера с представителями “новой культурной истории” и истории повседневности. Основной предмет дискуссии – “новая культурная история”, провозгласив свое превосходство над “социальной историей”, намеревается заменить присущее последней ключевое понятие “общество” широко трактуемым этнологическим понятием “культура”. Велер признает, что “социальная история” недостаточно занималась культурными аспектами. Она отбросила предшествующую центральную категорию государства, с которым были связаны такие понятия, как война, конституционные и политические конфликты. Социальная история под влиянием К. Маркса также в избыточной мере придала экономике функцию динамического и институционализированного центра. Концепция общества была слишком тесно связана с экономикой, а это понятие слишком аморфно, чтобы его применять к различным классам, городам, сельским областям и государствам [Wehler, 1998; 2007⁶].

Аналогично “социальная история” оперировала термином “политика” исключительно в его узком смысле: борьба за могущество и власть в границах, детерминированных социально-экономическими условиями. При этом попытки войти в положение людей прошлого определялись сугубо теоретическими установками. Методологиче-

ски слабость “социальной истории” состояла в том, что культурные традиции, “картины мира”, конструкции смысла, религия, толкование действительности оставались без должного внимания или, более того, их игнорировали. Исследование идеологий, ведомых различными интересами, больше соответствовало социально-историческому подходу. Двойственность конструкции действительности посредством социальных, экономических, политических, культурных условий и толкованием ее смысла самими действующими лицами, по существу, почти не принималась во внимание.

В этом плане критика “социальной истории” со стороны “новой культурной истории”, начатая в конце 1970-х гг. и достигшая апогея в 1980-е гг., была правильной в том плане, что представители социальной истории, как правило, пренебрегали судьбами отдельных людей и их опытом. Однако при таких подходах росли сомнения относительно универсальной ценности основанной на просветительстве западной модели модернизации вообще и преимуществах либеральной демократии. Возникло стремление ограничить предметную область исследований “микроисторией”. В связи с этим тот же Велер считал, что социальная история должна включить в круг изучения “картины мира”, конструкции смыслов и некоторые аспекты истории развития понятий, социологии науки, лингвистического анализа, то есть осознать, что язык также конституирует социальную реальность [Wehler, 2001].

Несмотря на это, “историческая социальная наука” все еще сохраняет преимущество перед “новой культурной историей”, поскольку последняя в куда большей степени исключала из поля своего зрения отдельные проблемы и блоки. Например, она вообще не исследует историю населения и историческую демографию. Экономика как структурная институция, обладающая собственной динамикой развития, вообще не принимается во внимание. Когда речь заходит об общественном неравенстве, изучается в основном только неравенство полов, проблема старости и этнического происхождения. При этом упускаются из виду неравенство экономического положения и неравенство социальных и культурных возможностей. Что касается политики, то культурная история не занимается изучением процессов принятия решений и постоянной борьбы за господство и власть. Она в основном занимается “символистским” подходом к политике – символами, ритуалами, торжествами, церемониями. Иначе говоря, “культурной истории”, пользующейся исходными концептами и методами социально-культурной антропологии и уделяющей исключительное внимание историческому индивидууму, труднее перестать игнорировать факторы экономики, социальных неравенств и политики, чем “социальной истории” интегрировать феномен культуры. Данное исследовательское направление обогатит себя, добавив его к четырем основным своим краеугольным предметам изучения – населению, экономике, социальным неравенствам и политике [Wehler, 2003].

Обратим внимание и на еще одно весьма распространенное историографическое направление – “устную историю” (Oral History), которая взаимодействует как с социальной и культурной историей, так и с историей быта. Она принципиально отличается от “социальной истории”, поскольку ее исследования сводятся в основном к “микроистории” и опыту “маленького человека”. Устная история основывается на методе интервьюирования “свидетеля эпохи”. Это понятие относится, с одной стороны, к созданию источника (интервью), а с другой – использованию этих источников для постановки исследовательских вопросов. Когда речь заходит о дискуссии относительно меньшей ценности вербальных источников по сравнению с письменными, сторонники “устной истории” указывают на то, что и устные рассказы соответствуют по форме и содержанию социальным представлениям и потому они – в чистом виде социальные конструкты. Они содержат в себе прошлое в косвенной форме, притом в не меньшей степени, чем письменные источники.

В основном с начала 1980-х гг. “устная история” начала ассоциироваться с изучением опыта различных групп, не оставивших следов в письменных источниках или описанных исключительно с точки зрения властей. Это рабочие, женщины, этнические меньшинства – в основном, “простонародье”, у которого не было иной жизни,

кроме быта. В центре внимания оказались попытки обеспечить объектам, да и жертвам исторических процессов, самим выступать в качестве субъектов, чтобы историческая наука использовала их опыт, представления и социальную практику. Ведь ранее она занималась исключительно “великими людьми”, “сильными мира сего” или социальными структурами [Descamps, 2001].

“Устная история” подверглась жесткой критике, ибо в личных воспоминаниях множество пробелов, произвольных толкований и неправды, даже тогда, когда собеседник не лжет сознательно. Не учитывалось, что ценность устных источников может заключаться как раз в их субъективности. Но в последнее время полемика между сторонниками и противниками этого направления ослабла; также релятивизировалось и утверждение представителей течения о возможности проникнуть внутрь жизненного опыта индивидуума. Поскольку под воздействием “культурной истории” распространилось изучение коллективных идентичности и исторической памяти, а также возник вопрос о том, что конституирует историческая память, устная история становится все более значительным течением в историографии рубежа XX–XXI вв.

Центральная проблема тут связана или с социальной ролью индивидуального опыта и памяти, или же в какой мере она идентична коллективной и представляет собой доминирующее воспоминание, нормы, менталитет. Коль скоро предметом “устной истории” выступает память как особый продукт и результат социальных процессов, этот исследовательский подход становится методом анализа исторического сознания и создания смысла. Информационная ценность устной истории, конечно, зависит от внимательного и методически обоснованного интервью, его обработки и интерпретации. Будучи историей “снизу”, устная история, с точки зрения большинства автохтонного населения, особенно важна для изучения постколониальных обществ, поскольку дает необходимые дополнения и возможность переоценки их исторического пути, традиционно рассматриваемого глазами колонизаторов.

* * *

Изучение истории XX–начала XXI в. везде порождало горячую полемику, вызванную различиями в видении того или иного исторического события, считающегося важным для каждой данной нации, государства или социальной общности. Историческая наука действительно стала историей переоценок и споров (*streitgeshihte*), отражения которых в той или иной мере и с различной степенью интенсивности присутствуют в историографии каждой страны и социума.

Грандиозные социополитические трансформации второй половины прошлого столетия фундаментально изменили социальные детерминанты исторических интерпретаций и оценок. Противоречивые оценки нашли отклик у общественности и предоставили информацию об историческом сознании и политической культуре каждой данной среды. В этой связи важнейшая задача профессиональных историков состоит в том, чтобы в своих исследованиях попытаться осуществить синтез социальных структур и человеческих поступков, суждений и опыта. Это – один из самых сложных приемов при реконструкции прошлого, поскольку историки должны решительнее покрывать с XX в., чем их коллеги, исследующие более ранние исторические периоды. Они постоянно сталкиваются с конкуренцией различных и противоречивых концепций, находятся между групповыми воспоминаниями и научной историей современности. Речь, по существу, идет о нравственном конфликте между оправдывающим или обвиняющим воспоминанием и стремлением профессиональных историков найти рациональное объяснение. Да и сами они могут быть пристрастными свидетелями своего времени. Манипуляция историей не есть особенность XX в., но именно в этот период она присутствовала в политической культуре всех стран.

Соответственно, история, а в особенности интерпретации недавнего прошлого, – мощный стимул формирования коллективных конструкций идентичности, которые постоянно вынуждают историков определять свои позиции и обнародовать их. Поэтому взаимоотношение профессиональных историков и общественности – необходимый

элемент современной историографии. Не существует в мире ни государств, ни наций, у которых отсутствовало бы неблагоприятное “неприятное” прошлое и соответствующая память о нем, и не стояла бы проблема его оправдания или замалчивания.

Хотя понятие “коллективная память” постоянно используется в научных изысканиях, в реальности ее не существует. Речь идет о разновидностях коллективной обусловленности памяти: социальной, экономической, национальной, ментальной, политической, языковой, конфессиональной, каждая из которых фильтрует индивидуальный опыт. Современные диктаторы в определенные периоды с большим успехом формировали собственные критерии истинного и ложного, затем “дарованные” обществу, в большинстве своем их принимавшему. Конечно, западные демократии с их идеалом гражданского общества тоже ни в коей мере не свободны от манипуляций со стороны властей с целью формирования нужных им представлений с тем, чтобы население принимало селективную историю как ценность, необходимую в контексте современных идеологических интересов. Очевидно, что последствия научных исследований для общества зависят от важнейших социальных и политических процессов, и на историках – исследователях XX в., ученых и современниках одновременно – лежит печать исторических процессов и важнейших событий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Bourdé G, Martin H.* Les écoles historiques. Paris, 1997.
Decamps F. L'historien, l'archiviste et le magnétophone. De la constitution de la source orale à son exploitation. Paris, 2001.
Foucault M. Nadzor i kazne: radanje zatvora. Zagreb, 1994^a.
Foucault M. Rijeci i stvari, Zagreb, 2003.
Foucault M. Znanje i moc. Zagreb, 1994^b.
Gross M. O historiografiji posljednjih trideset godina // Časopis za suvremenu povijest. 2006. God. 38, br.2.
Hunt L. Nova kulturna historija (s predgovorom M. Gross). Zagreb, 2001.
Lyotard J.-F. Postmoderno stanje: izvjestaj o znanju. Zagreb, 2005.
Wehler H.-U. “Eine lebhafte Kampfsituation”. Ein Gespräch mit Manfred Hettling und Cornelius Torp. München, 2006.
Wehler H.-U. Die Herausforderung der Kulturgeschichte. München, 1998.
Wehler H.-U. Historisches Denken am Ende des 20. Jahrhunderts 1945–2000. Essener Kulturwissenschaftliche Vorträge 11. Göttingen, 2001.
Wehler H.-U. Konflikte zu Beginn des 21. Jahrhunderts: Essays. München, 2003.
Wehler H.-U. Mit einem Vorwort von Hubert Christian Ehalt: Literarische Erzählung oder kritische Analyse? Ein Duell in der gegenwärtigen Geschichtswissenschaft. Vortrag im Wiener Rathaus am 18 Oktober 2006 // Wiener Vorlesungen im Rathaus. Wien, 2007^a. Band 131.
Wehler H.-U. Nationalismus. Geschichte, Formen, Folgen. München, 2001.
Wehler H.-U. Der Nationalsozialismus: Bewegung, Führerherrschaft, Verbrechen, 1919–1945. München, 2009.
Wehler H.-U. Notizen zur deutschen Geschichte. Essays // Beck'sche Reihe. München, 2007^b. Band 1743.
White H. Auch Klio dichtet oder die Fiktion des faktischen. Studien zur Tropologie des historischen Diskurses. Stuttgart, 1986.
White H. Die Bedeutung der Form, Erzählstrukturen in der Geschichtsschreibung. Frankfurt a. M., 1990.
White H. The Fiction of Narrative: Essays on History, Literature, and Theory, 1957–2007. Baltimore, 2010.
White H. Metahistory: die historische Einbildungskraft im 19. Jahrhundert in Europa. Frankfurt a. Main, 1991.
White H., Rossi P. Das Problem der Erzählung in der modernen Geschichtstheorie // Theorie der modernen Geschichtsschreibung. Frankfurt a. M., 1987.